

75 лет Победы. Праздна

Борис КУЗНЕЦОВ

РАССКАЗЫ

КОРМИЛЬЦЫ

В последнее военное лето маму отправили на заготовку сена. Сенокосные угодья находились километрах в двадцати пяти от посёлка. В бригаде работали шестнадцать женщин, почти все солдатки или вдовы. Направили их от швейной мастерской. В мастерской они шили нижнее солдатское бельё. Маму назначили бригадиром в этой непростой команде не потому, что у неё были способности, а потому, что была она партийной. Бригадиром из-за слабохарактерности она была плохим. Не умела ни приказать, ни наказать. Звали маму Надежда Сергеевна, только бабы в бригаде уважения к ней не проявляли и называли Надей, а то и Надькой.

Мама взяла на покос Витька и Колю. Она хотела оставить детей на попечение свекрови, но та воспротивилась, ссылаясь на нездоровье:

– Да разве я, старая-больная, догляжу за этими бандюками!

Мальчики ликовали. Они не любили суётливую и злую бабку. Маленькая, сморщенная, она курила махорку и ругалась, как мужик. Она смогла бы учинить догляд не только за своими внуками, но и за ватагой таких, как они. Витьку исполнилось восемь лет, Коля был на полтора года старше. От мамы



и бабки подзатыльники им причитались примерно в равном количестве, но Витёк ещё получал дополнительную порцию от Коли.

На покос шли пешком. На единственном коне везли косы, вёдра и прочую походную утварь. Коня звали Чингис. Его мобилизовали на трудовой фронт из монгольских степей. Командовал «обозом» завхоз мастерской, которого женщины звали Никифор Петрович, а мальчики по фамилии – дядя Еремеев.

На берегу речки Бегунки стоял ранее отремонтированный Никифором Петровичем просторный балаган для покосниц и навес со столом из горбыля и скамьями. Здесь бригаде предстояло жить какое-то время, и время это зависело не только от старания людей, но и от погоды. Хорошая погода позволяла справиться с заданием быстро, и всё-таки каждая из женщин мечтала о нескольких днях ненастия, в которые можно успеть отлежаться и отоспаться.

После того, как отдохнули от утомительного пути, Никифор Петрович раздал косы и велел обкосить становище, прокосить дорожки к воде и наносить в балаган травы для постелей. Женщины вразнобой, а некоторые совсем неумело замахали косами. Заросшая высокой травой

КУЗНЕЦОВ Борис Павлович родился в 1936 году, окончил в Стальнске (с 1962 г. – Новокузнецк) Сибирский металлургический институт. Инженер-металлург, всю жизнь отработал в мартеновском цехе Гурьевского металлургического завода. Первые стихи написал в школе, они печатались в газете «Гурьевский рабочий». В студенческие годы посещал литературную студию при газете «Кузнецкий рабочий». Стихотворения выходили в кемеровских сборниках «Молодые голоса» (1959), «День поэзии» (1970), альманах «Огни Кузбасса» и газетах «Комсомолец Кузбасса», «Земляки», «Кузнецкий рабочий», «Советский воин». Автор четырёх книг стихов и прозы. Живёт в городе Гурьевске Кемеровской области.

и потому казавшаяся тесной поляна, теперь освобождённая, раздвинула границы, повеселела.

Во время очередного «перекура» выбрали повариху, самую молодую, высокую шуструю Валентину. Она, было, застращалась, но товарки на неё цыкнули:

— Ты хочешь, чтобы мы, старухи, в жару вокруг костра крутились?

Самой старшей женщине едва перевалило за сорок.

— С чем крутиться-то? — сопротивлялась Валька. — Варить всё одно нечего, кроме пшёнки.

— Но почему же кроме пшёнки? Будет и ещё что-нибудь. Правду я говорю, Никифор Петрович? — спросила Надежда Сергеевна.

Еремеев неопределённо буркнул. По прошлогоднему опыту он знал, что надеяться на дополнительный приварок не следует.

— Ты, Валька, радуйся, что тебя к каще ставят. Вон ты какая тощая: ни кожи, ни рожи. При котле, авось, и тело наберёшь, — высказалась самая старшая в бригаде, Елена. Скандалистку, её не то чтобы боялись, но если она напрашивалась нассору, то старались не ввязываться. Жалели. Елена недавно получила похоронку на мужа.

Валька взорвалась:

— Ты, тётя Лена, меня сразу в воровки записала. Плевать я хотела на этот котёл!

— Довольно! — рявкнул Никифор Петрович. — Нечего здесь воровать! И если ставят тебя к котлу, то не дёргайся. Устроили здесь пионерский сбор! А ты, дура старая, — обратился он к Елене, — не подначивай, не зуди!

Успокоились. Попили холодной воды, пожевали то, что с собой прихватили, поделились с теми, у кого ничего не было, и пошли махать косами. Перед солнцезакатом Никифор Петрович уехал в посёлок. После его отъезда женщины косьбу закончили, лишь Надежда Сергеевна махала косой, надеясь личным примером вдохновить баб на продолжение работы, но те не вдохновились.

За ужином вспыхнул скандал. Когда Коля подошёл к Валентине за порцией каши, Елена закричала:

— Почему чужие харчатся из нашего котла? Нахлебников нам не надо!

Мама кинулась к Коле, вырвала из рук его миску, в которую Валя уже успела положить порцию для мальчиков и вывалила содержимое в котёл. Бригада молчала. Елену никто не поддержал, но и за мальчишек никто не вступился.

Только красивая Оля произнесла:

— А ведь Еремеев про тебя, Ленка, правду сказал. Дура ты старая!

Так нехорошо началась покосная страда. Но дело на месте не стояло. С рассветом начинали косить, а к полудню приезжал Никифор Петрович. Женщины пили чай с привезённым им хлебом и опять принимались за работу, а Еремеев настраивал косы. Женщины заметно веселились, даже соперничество в косьбе появлялось, но перед закатом Никифор Петрович уезжал, и в бригаде снова воцарялось равнодушие.

А Коля с Витьком днём уходили на гору за речку, «пастись» на клубнике. Ягода назревала обильно, вот только рвать её приходилось с осторожностью из-за змей, которых водилось на горе несчётно. Счастье это длилось три дня, а на четвёртый дядя Еремеев дал мальчикам грабли и приказал ворошить первую кошенину, а потом они из балагана вытаскивали подопревшую, сырую траву, служившую покосникам постелью на первое время, и заменяли её свежим сеном.

Вечером повариха Валя спросила:

— Мальчишки заработали кашу?

Покосницы промолчали. Валя хотела каши ребятам наложить, но мама не разрешила.

На следующий день после полудня бригада ворошила и сгребала готовое сено. Коля верхом на Чингисе ездил вдоль валков, а две женщины набрасывали сено на волокушу. Витёк завидовал брату, ему тоже хотелось восседать на коне, командая «Но!» или: «Стой! Чёрт лукавый!». Так руководил Чингисом Никифор Петрович. Завидовать долго не пришлось. Через пару часов Коля сполз с хребта Чингиса, он уже не мог сидеть на нём, он ни на чём уже не мог сидеть из-за мозолей и ссадин на ягодицах.

Витёк уже без особого рвения вскарабкался на коня, но выдержать он не смог даже двух часов. Теперь мальчики по очереди водили Чингиса за повод, а женщины кидали сено и подсмеивались над ними.

Так продолжалось несколько дней. Погода стояла жаркая, с полуденным ветерком. Не погода, а мечта. Женщины втянулись, работали скоро, не обращая внимания на оводов. Вечером они шли на галечный перекат Бегунки, смыть пот и сенную труху. Ужинали и заползали в балаган. Никаких сидений и разговоров у костра. Если погода не подкачет, то недели через полторы, от силы две, можно было рассчитывать на окон-

чание страды. Но в этот установившийся порядок вдруг вкраплось непредвиденное. Однажды утром Никифор Петрович не приехал. Попили чай с тем, что у каждой было про запас, вышли на работу, а перед сном поужинали кашей, сваренной Валей из остатков пшена. На следующий день приезда Еремеева ждали, как окончания войны, но он опять не приехал. После обеда мама пошла в посёлок за хлебом и прояснить обстановку. Работа на покосе продолжалась по инерции. Валя сходила на колхозную пасеку, отстоящую километрах в двух, но пасечник помочь не смог. Накануне к нему приезжали председательница с представителем из госпиталя и весь мёд забрали для раненых. Валя принесла в чашке изломанные соты, перемешанные с мёдом, и немного хлеба, который от себя отделил сердобольный старик.

И на следующее утро Никифор Петрович не приехал. Мама тоже не пришла.

— Всё, бабы, — с грустным смешком сказала Люба, — отработаем и подыхать будем.

— Не подохнем! Может, Надька придёт, а если нет, то ребятишки рыбы в речке наловят. Вот и прокормимся. Как вы думаете, Витька, Колька? Наловите рыбы, спасёте несчастных? — красавая Оля засмеялась.

— А чем? — хором спросили братья.

Ольга сползала в балаган и вернулась с головным платком:

— Вот вам невод. Ловить не переловить!

Как ловить рыбу тряпкой в ручьях и мелких речушках ребята знали. Они взяли под улов ведро и спустились к Бегунке, вода в которой не прогревалась даже в полдень. Бегунка не допускала до себя солнечные лучи, струилась в зарослях лозняка. Берега густо обросли крапивой и марынным корнем. Стайки рыбёшек, пескарей и гольянов сновали в прозрачной воде.

Вначале у братьев получалось не очень, а потом пошло хорошо. За один проход иногда удавалось поймать несколько горстей рыбы. Когда Витёк не успевал вовремя поднять свой конец «невода» и рыбёшки сбегали, он получал от Коли оплеуху. Обидно, конечно, но не столько за подзатыльник, как за то, что от брата рыба иногда сбегала безнаказанно для него. Однако работа шла, ведро заполнялось, и даже вода стала теплее, может, от разогревшегося воздуха, а может, просто мальчишки привыкли к её остывости. Когда ведро наполнилось на две трети, Коля сказал: «Хватит!».

Они несли ведро вдвоём. Подъём от Бегунки был крутой, ноги путались в траве. На стане никого не было. Хотелось есть. Витёк предложил брату сходить на Змеиную гору за клубникой, но тот молча сел к столу и стал где ножом, где пальцами потрошить скользких и жирных рыбёшек. Витёк подсёл к нему. Ловить рыбу было гораздо интереснее, чем готовить к варке. Братья уже заканчивали работу, когда пришла Валя.

— Так много! В Бегунке? Скажи кому, так никто не поверит.

Когда покосницы, молчаливые, утомлённые зноем и голодом, пришли к балагану, уха, а точнее рыбная каша, так как рыбы в котле было больше, чем воды, остыла на краю стола. Женщины недоверчиво вдыхали ароматный запах и шли на речку, смыть пот и усталость.

Ели варево с жадностью, подливали себе добавки. Лица разглаживались, глаза веселились. Елена заикнулась было: «Хлебца бы!», но её оборвали.

Наперебой хвалили мальчишек:

— Кормильцы! Мужики! С такими не пропадём!

Стемнело. Костёр погас. И без него было тепло, даже душно. У ребят слипались глаза, да и женщины одна за другой заползали под тёмный свод балагана. Братья лежали между Валей и красивой Олей, которые вполголоса переговаривались.

— Ну как там кормильцы? — спросил кто-то из темноты.

— Спят кормильцы, — отозвалась Оля.

За стенами балагана трещали цикады, где-то далеко ухал филин, а за Бегункой от клубничной горы раздавался громкий треск, и все верили, что так трещат змеи. Под сводом балагана висела душная тишина, и вдруг в самом дальнем его конце раздался голос:

— Нинка, что там у тебя в брюхе урчит и урчит?

— Не урчит, — полусонно отозвалась Нинка, — это пескари икру метают.

Первая засмеялась Валя, потом ещё кто-то, и ещё, и ещё. И громкий смех, какого не было за всю покосную страду, заглушил все другие звуки.

— Тише, вы, — прикрикнула красавая Оля, — кормильцев разбудите!

А утром приехали Никифор Петрович и мама. Они привезли трёхдневную норму пшена и хлеба и большую банку американской тушёнки.

ВЕЛИКОЕ КИНО

Клуб воздвигли лет за пять до войны. Люди строили социализм, но они не очень понимали, каким он должен быть, и видели его в своих мечтах большим и светлым, и клуб получился большой, белый, с колоннами. Он стоял на возвышенности. К нему вела широкая лестница, стилизованная под мрамор, окаймлённая массивными бетонными перилами. В перегибах перил стояли гипсовые вазы. Летом они краснели ноготками и пестрели анютиными глазками. И ещё. Один недавний мудрец сказал, что «из всех искусств для нас важнейшим является кино», а вера в этого человека была непоколебимой, и поэтому кинозал в новом клубе мог вмещать больше полутысячи зрителей. А потом началась война, и строительство светлого будущего прервалось.

Зима тянулась долгая и холодная. Вечерами по улицам с деревянными винтовками маршировали отработавшие длинную смену в цехах мужчины призыва и допризывного возраста. Под командой фронтовика, получившего отсрочку после ранения, они «штурмовали» Крутиху, гору, до блеска заезженную салазками и самокатами. Мальчишки бегали смотреть, возьмут или не возьмут «наши» Крутиху? Но «наши» взять её не могли, слишком скользким был подъём. И на другой вечер эти, а может быть, другие, мужчины «штурмовали» горку и опять скатывались вниз. Зато какая радость овладевала мальчишками, протащившими свои салазки или самокаты по забитому снегом проулку на вершину горы, катить с неё с восторгом и страхом.

В конце февраля висевшую на клубном стенде недели четыре афишу с «Волгой-Волгой» сменили на «Разгром немецких войск под Москвой».

К началу сеанса люди шли сплошным потоком.

Коля и Витёк в первый день кино не посмотрели. Баба Лена работала в утреннюю смену, и сбежать на улицу они не смогли. Баба Лена сказала, что «в такой мороз хороший хозяин собаку из дома не выгонит», хотя морозило не так уж сильно, но холодный ветер продувал насквозь. А дед вместе с другими «штурмовал» Крутиху. Ребята сидели у репродуктора. Включённый на полную громкость, он всё равно говорил тихо, а порою хрюпал, но ребята к этому привыкли и почти всё понимали. В доме была книга. Библиотечная. «Пятнадцатилетний капи-

тан». Книгу по вечерам вслух читала баба Лена, иногда дед. Мальчишки читать могли только по складам. Коля в школу должен идти осенью, а Витёк через год.

На следующий день братья попали в кинозал. Это было несложно, людей пришло ещё больше, а где много взрослых, там и маленькому легко, нужно только не быть с краю, а затеряться в серёдку. В двери, мимо контролёра, протискивались сразу по три-четыре человека, а иногда кто-нибудь протягивал целую ленту билетов. И говорил, показывая на окружающих: «Эти со мной!», а замотанные таким многогрудством контролёры не считали, соответствует ли число противснувшихся билетам.

Кино ошеломило мальчишек. Там по снежным полям неслись выкрашенные белой краской танки, скакала конница, бежали в атаку красноармейцы, друг за другом шли лыжники с автоматами. А ещё показывали разбитые немецкие пушки, танки и автомобили. Ими были завалены обочины дорог и освобождённые города. Но, когда показывали замученных фашистами красноармейцев, у ребят от ужаса глаза делались круглыми и отвисали подбородки. Нет, они не отворачивались от экрана. Они знали о жестокости войны.

Пробрались братья в кинозал и на следующий день, а потом через два дня ещё. Благо баба Лена работала в вечернюю смену, а дед никак не мог завоевать неприступную Крутиху. А после четвёртого похода в кино случилась беда, с Витька сдёрнули шапку. Его, сдавленного людской массой, выносило из клубных дверей, и в этой толкотне на шапку позарился кто-то из шпаны. Витёк носил её, не завязывая ушей. Не маленький он, в конце концов. А баба Лена всегда спрашивала, отправляя его на улицу: «Шапку завязал?» – и проверяла, подвязал он тесёмки или нет. Колю не проверяла. Коля отличался аккуратностью.

Витёк стоял, привалившись к бетонному ограждению, и ревел, ревел по-настоящему. Люди шли мимо, но мало кто обращал внимание на плачущего мальчика, а потом Витька нашёл Коля. Ему не нужно было ничего объяснять. Он знал местную шпану и сам мог стать таким же, но у него были строгие дед и бабка. Мороз стоял нешуточный, лестница не освещалась и скоро опустела. Люди, посмотревшее кино, ушли, а пришедшие смотреть зашли в зал, а Витёк всё стоял на том же месте. Коля не мог уговорить

его и отвести домой, тогда он дал Витьку подзатыльник и ушёл. Вернулся он вскоре не один. С тётей Ниной. Тётя Нина жила у них за стенкой. Она работала в школе учительницей.

Витёк уже не ревел. Он как мог натянул на стриженную голову фуфайонку, стоял и хлюпал носом. Тётя Нина повязала его своим платком и повела домой. Витёк не упирался, а дома, не раздеваясь, забрался на топчан, забился к самому краю и уснул.

Проснулся он от громкого голоса бабы Лены: «Хоть бы ему башку оторвали вместе с шапкой!». Она ругала Колю, а между сыпавшимися упрёками пыталась выведать, что там, вчерашним вечером, произошло. Витёк буркнул утреннее приветствие, заткнул в валенки ноги, накинул на плечи фуфайку и выскочил на улицу по своей надобности. За ночь мороз не смягчился, а стал злее. Да ещё и ветер подул. Вот уж, действительно, в такую погоду хороший хозяин собаку из дома не выгонит. Когда он вернулся, баба Лена гремела посудой, а Коля сидел на топчане и по складам читал «Пятнадцатилетнего капитана». Витёк не знал, что успел навратить брат бабе Лене, подсел к нему, и они стали шептаться. Но Коля ничего не наврал, он рассказал всё, как было. Потом баба Лена позвала их за стол, а за завтраком объявила, что теперь никакой улицы, никакого кино.

— Будете сидеть дома и читать!

После полудня к ним зашла тётя Нина. Она принесла Витьку Костины шапку. Костя, сын, весной сорок первого вернулся со срочной, а в июле его забрали на войну. Тётя Нина получила два письма: одно с дороги, а второе оттуда, где очень красиво и течёт большая река, чудная при всякой погоде. Взрослые восхищались Костиной находчивостью, а недели через три по радио передали, что наши оставили Киев. Больше тётя Нина писем от Кости не получала. Она стала часто плакать, но потом к ней подселили эвакуированных: женщину с двумя девочками-школьницами, и плакать тётя Нина стала реже. Костина шапка была Витьку великовата, но она очень понравилась мальчику, и он примерял шапку так и этак, кривляясь перед зеркалом.

Тётя Нина опять заплакала, а Витёк решил, что ей жалко отдавать такую хорошую шапку и сказал:

— Не плачьте, тётя Нина! С меня её могут сорвать только вместе с башкой!

Тётя Нина заплакала ещё горше и пошла к себе.

Вечером баба Лена и дед были дома. Они пошли в кино. Коля с Витьком тоже пошли в кино, а тётя Нина не пошла. Она сказала, что ей не справиться с собой, что она будет весь сеанс реветь и испортит людям отдых. Мороз ослабел. Людей набрался полный зал и балкон. Те, кому не хватило места, стояли у стен и в проходах. И опять на экране бежали в атаку красноармейцы, белые танки неслись по полю и мчалась конница. И опять становились круглыми, немигающими глаза, когда шли кадры о зверствах захватчиков. Оглушительная тишина обрушивалась в эти минуты на кинозал, и только всхлипывания женщин в темноте зрительских рядов нарушали её.

Четвёртую неделю крутили в клубе «Разгром...», а народ шёл и шёл к каждому сеансу, и толпа, поднимающаяся по лестнице к клубу, становилась день ото дня плотнее. Эти люди даже в самые тяжёлые осенние месяцы верили в победу, а сейчас шли за подтверждением своей веры, и после каждого просмотра они выходили те же, но уже другие, потому что это было Великое кино, созданное Великим народом.

АМЕРИКАНСКИЕ ШТАНЫ

Вторую военную зиму мы пережили куда как лучше, чем первую. Тогда у нас дрова и картошка закончились в феврале. Дед говорил, что война застала нас «без штанов».

Весной дед выменял на что-то картофельные семена — грязные, сморщеные, мелкие, как бобы, клубеньки. Не семена, а картофельный мусор. Сажали по одному клубеньку в лунку, чтобы получилось больше, потом ждали: «Взойдёт не взойдёт», а когда взошла, то за каждым кустиком ухаживали, как за дитём. И ещё возили на тележке дрова. Картошка уродилась, и зимой баба Оля два раза каждый день кормила нас. Утром — варёной в мундирах, вечером — жареной. Печку тоже топили два раза: утром и вечером.

Жили мы вчетвером: я, старший брат Коля, он этой весной перешёл в третий класс, баба Оля и дед. Дед приходился нам не совсем дедом. Он был мужем бабы Оли. Отец наш воевал.

Я подслушал, что говорил дед своему напарнику, тоже конюху, об отце:

— Ему что? Он всё время воюет. На Халхин-Голе воевал, на финской — воевал, теперь вот на германской.

Было обидно. Получалось, что папа не хотел копать картошку и возить дрова, а ушёл на войну.

Когда месяц-другой с фронта не приходили письма, дед говорил:

— Опять, наверное, в окружении плутает.

Если письма вдруг начинали приходить часто, то объяснял так:

— В госпитале отлёживается. Вот и строчит от делать нечего.

Позднее я понял, что за этой бравадой прятались непроходящее беспокойство и желание не допустить в дом панику.

Про маму не говорили никогда. Наша мама сидела в тюрьме.

Когда в домашних делах появлялся просвет, я и Коля в компании таких же заморышей уходили в лес или на горы, искали съедобные травы и выкапывали луковицы цветов. Весной — кандаиков, а ближе к лету — саранок, мучнистые корни которых были вкусными и сытными. Мы очищали их от земли травой, но всё равно на губах оставался чёрный налёт. Саранки встречались редко. Многие, как и мы, охотники ходили по горам и от первой зелени до самых снегов мяли босыми ногами окрестные травы.

А на Шкрап босоногим не пойдёшь. Шкрапом называлось место, где сваливали железный лом для завода. Позже я узнал, что мы просто искали слово скраб. На Шкрап нам ходить запрещали: там работали краны и ходили паровозы. Охранял площадку одногий сторож дядя Лёня, который жил тут же, в будке. После госпиталя он не мог уехать, потому что его родная деревня была «под немцем». Мы с ним дружили, и на нас он кричал лишь тогда, когда мы лазали близко у работающих кранов и когда на площадке находилось начальство. Много интересного находили мы на Шкрапе, но лучшей добычей считалась противогазная сумка с ремешком. Сумка годилась подо всё, а ремешком пользовались, как брючным. Его можно было обменять даже на еду. А если в сумке сохранился противогаз, то нашедший считался счастливчиком. Лучшие рогатки делались из противогазной резины. Говорили, что Вовка Гусь сбил из рогатки ласточку на лету. Я не очень верил, но не спорил. Гусь был самым старшим среди нас, и мы ему подчинялись.

Так что жизнь наша с Колей складывалась совсем неплохо, но в самом начале лета на меня свалилось несчастье. Мне подарили американские штаны. Где-то какая-то комиссия распределала поступившую из-за океана помошь, и, наверное, помоши было немало, но штаны

достались почему-то мне. Я видел такие на картинке, в книжке про Тома Сойера. Клетчатые, с лямками, с пуговицами на боку и под коленками. Штанины отсутствовали, прореха тоже.

— Повезло, — с издёвкой отметил брат.

— Хорошие штаники, — ласково пропела баба Оля. Она готовилась к битве.

— Не надену! — заорал я. — Не надену!

— Не наденешь — выпорю, — вмешался дед. Других воспитательных методов он не знал.

— Не надену, не надену! Сами носите! — орал я, пуская слёзы.

— Но ты посмотри, в чём ты ходишь, — всё ещё ласково ворковала баба Оля.

Действительно, то, что носил я и из чего давно вырос, заношенное, в заплатах, давно нуждалось в замене. Дед говорил: «Из-за гостей хозяина не видно», это о заплатках. «Ноги торчат, как у кулика», — это о том, что штаны стали малы.

Я продолжал буйнить, а баба Оля вдруг сдалась:

— Хорошо. Будь по-твоему.

И бросила американские штаны на табуретку. Коля покачал головой. Такой лёгкой победы над бабой Олей не случалось даже у деда. Баба Оля не знала поражений. Успокоившись, я поел картошки и ушёл играть, а возвратившись уже в сумерках, сразу уснул.

Когда, проснувшись утром, я стал одеваться, то любимых моих штанов на месте не оказалось. Я поискать там и там. Искать было просто, у нас почти отсутствовала мебель. Американские штаны лежали на табуретке, клетчатая материя походила на тюремную решётку.

— Где мои штаны? — предчувствуя недоброе, крикнул я.

— Сожгла я твои штаны, — отозвалась из кухни баба Оля.

Я опять захныкал, но никто в комнату не заходил. Коля тоже испарился.

«Предал», — обиделся я.

Хотелось есть. На столе в чашке дымилась варёная картошка, и я собрался сесть на своё место, но баба Оля сказала:

— Без штанов за стол не пущу!

И тогда я надел американские штаны.

Я думал, что ребята будут надо мной смеяться, но они отнеслись с пониманием:

— Заставили? — спросил Стёпка:

— Заставили, — уныло подтвердил я, но о том, как я с рёвом отбивался от этого подарка, распространяться не стал.

— Можно носить, — сказал Стёпка, а Лёха выдернул из тесины гвоздь и стал раздёргивать нитки.

— Не, я уже смотрел. Не рвутся.

— Не рвутся, — согласился Лёха.

— По крапиве не побегаешь.

— По Шкрапу тоже не походишь, — вмешался молчавший до этого Гусь.

— Не походишь, — подтвердили все.

На Шкрап пошли ближе к вечеру. Не дойдя какую-то сотню шагов до места, Гусь вдруг остановился.

— Дурак! — выдохнул он и красиво плюнул сквозь зубы.

— Кто? — не поняли мы.

— Я! — Гусь опять красиво плюнул. — Надо было Витьку ноги тряпками обмотать. Сходи к дяде Лёне, может, у него что-то найдётся, — обратился он ко мне.

Ребята разошлись по железным завалам, а я пошёл к будке. Дядя Лёня курил, сидя в тени, деревянная нога стояла, прислонённая к скамье. Я поздоровался.

— Американские? — спросил дядя Лёня.

— Они, — вздохнул я.

— Заставили? — спросил дядя Лёня.

— Других нет, — ответил я. — Мне бы тряпок каких, ноги обмотать.

— Не стоит. — сказал сторож. — Там давно всё проверили, а вагоны с неделю не поступали.

Дядя Лёня сунул кулью в деревяшку и захромал в будку. Вернулся он с коробкой, в которой лежали ножницы, нитки и прочая дребедень.

— Снимай!

Дядя Лёня отпорол лямки, скроил из них петельки и пришил к поясу штанов. Потом опять зашёл в будку, принёс ремешок от противогазной сумки и продёрнул в петельки. Я чуть не расплакался от радости.

Подошли ребята. Они действительно ничего не нашли, но переделанные штаны одобрили.

— Ништяк! — сказал Гусь и сплюнул.

— Ништяк! — хором повторили все.

— Прореху бы ещё, — попросил я.

— Сделаем и прореху, — сказал дядя Лёня. — Приходи.

А главное, что не стало позорных, детсадовских лямок. Примерно так думал я, когда мы возвращались домой, и друзья соглашались со мной.

Хорошо было работать на огороде, хорошо было пропалывать в поле картошку, там никто не

смеялся над американскими штанами, но пройти по городу, сходить на речку или в кино и не услышать обидное не получалось. Дразнили полузнакомые пацаны, а совсем незнакомые тыкали пальцами и смеялись. Я мечтал о настоящих штанах, таких, какие носили все. Да ещё Коля давил на больное место:

— Скоро лето пройдёт, заморозки начнутся. И куда ты в них? Ни в лес, ни по грибы.

Стояла жара последней недели июля. На огороде и на пашне всё росло само, тучнело и вызревало. Я и брат на тележке возили сосновые шишки и сучки. Ездить приходилось далеко, все спешили запастись к зиме топливом, ближайшие сосняки были вычищены до иголочки, и сегодня мы решили забраться подальше в лес, чтобы нагрузиться быстрее. На полянах, как пуговицы на американских штанах, блестели шляпки только что пробивших сосновую подстилку маслят. Сообразив из могучих листьев лопухов подобие корзины, мы пристроили её на тележке среди мешков и наполнили крепенькими скользкими грибами. Собирать грибы оказалось много приятнее, чем сосновые сучки. Дома растроганная баба Оля сразу принялась чистить маслята, а нас до ужина отпустила на речку.

Купались мы на Длинном плёсе. Коля плавал хорошо и уплыл на тот берег, а я хлюпался на мели. Одежда лежала около самой воды.

По берегу шли большие парни. Ремеслуха. Один увидел мои штаны, поднял их и засмеялся, размахивая ими перед друзьями: «Во, сила!»

— Не трожь! — крикнул я, шлЁпая к берегу.

— Твои? — спросил парень. — На, держи!

Он протянул мне штаны, но, когда я был уже готов схватить их, бросил своему спутнику, а тот — другому, а другой — третьему, и я бегал от одного к другому и кричал: «Отдай!», и плакал от бессилия и злости, а взрослые парни гоняли меня по кругу, пока один не крикнул: «Лови!». Он забросил штаны в воду через голову плывущего на выручку брата. Коля развернулся, но поймать быстро тонущую тряпку не успел. Долго нырял он, всё ещё надеясь нащупать на дне американские штаны, но на такой глубине не сумел. А может быть, их уже отнесло течением.

Домой мы вернулись поздно. Баба Оля уже беспокоилась, не так о нас, как об остывающих на сковороде грибах, поджаренных с зелёным луком. Маслята любят, когда их едят горячими.

— А штаны где? — первым опомнился дед.

— Спёрли! — хором захныкали мы.

По дороге домой мы сговорились врать, что штаны украли. Если баба Оля узнает, что произошло на самом деле, то на речку нам ходить запрятят.

— Беда! — заохала бабушка.

— Врут! — дед стал снимать брючный ремень, но баба Оля сказала, что от битья штаны не вырастут. Но она очень расстроилась и не скрывала этого.

Мы ждали, что будет порка, будут крики и слёзы, но всё закончилось просто и немного печально. Я даже пожалел свои американские штаны.

Мне приснились кузнечики. Было их много, и они громко стрекотали.

Проснулся я поздно, солнце пятнами лежало на стене, из кухни слышались негромкие голоса. За столом сидели дед, баба Оля и брат. Раскрытая швейная машина стояла на подоконнике, на полу валялись узенькие обрезки серой ткани, а на табуретке лежали новые штаны. Настоящие. С длинными штанинами, с карманами и прорехой.

— Примерь, — баба Оля подала обнову.

Они были великолепны! Правда, велики в пояссе, в шаге, а штанины волочились по полу. Баба Оля запрчитала, но потом прямо на мне подвернула штанины, прихватила нитками, закрепила пояс ремешком, отошла в сторону, оглядела меня и вздохнула:

— На вырост.

— Не дотянут, — недоверчиво хмыкнул дед.

А я был уверен, что дотянут. Потому что стояло лето, а когда лето и к тому же, если можно два раза в день почти досыта есть картошку, то растёшь очень быстро.

ВЫПУСКНИКИ

Деревянный рабочий посёлок,
Угнетённый нуждой и войной,
И начальная наша школа,
Где четвёртый класс — выпускной.
Мы хорошего мало знали,
Больше горя и нищеты,
Об одном мы тогда мечтали:
Чтоб Победа и много еды.
И сшивали листочки газетные
В самодельные дневники
Мы, почти что двенадцатилетние,
Большеглазые выпускники.
Сумка сшита из старой тряпки,

Двойка за недоученный стих,
Из обойной бумаги тетрадки
И учебник один на троих.
И залатанные фуфайки,
Не спасающие в мороз,
И чернильницы-непроливайки,
И проверки на педикулёз.
Дорогие мои, дорогие!
Поколенье одной судьбы.
Были в жизни ещё выпускные,
Но и первый тот не забыт:
Полевые цветы в горшочке,
Солнце майское бьёт в окно,
И диктант на белом листочеке
С синим штемпелем Горено.
На доске полосочка мела,
В классе шорохи тишины.
И война давно отгребла...
Целый год уже нет войны.

ВЕЛОСИПЕД

В войну все жили бедного беднее:
Заплаты да картошка на обед,
Но наша улица других была главнее —
На нашей улице был велосипед.
Им до войны за личные рекорды
Был награждён лите́йщик дядя Фрол,
Он вёл домой его, счастливый, гордый,
В сараи поставил и ушёл на фронт.
Весной, едва дорога подсыхала
И появлялась первая трава,
Велосипед на лето нам вручала
Маруся, дяди-Фролова вдова.
Его мы чистили, его мы обтирали,
Его мы мыли светлою водой.
Мы пацанам чужим кататься не давали,
С Заречной улицы и улицы Крутой.
Неимоверно силы напрягая,
Трудилась измождённая страна.
Война гремела, всё собой сжигая,
Но день настал — и кончилась она.
Вмig посветлел наш закопчённый город,
Повсюду песни слышались и смех.
Взметнулись волны радости над горем,
Взметнулись выше и объяли всех.
До темноты окраина гудела,
Гармони пели в лад и вразнобой.
Каталась ребятня, в звонок звенела:
И наши, и с Заречной,
И с Крутой!